

Вадим Чирков

Зеркало Хаджибея

Четыре часа утра. Еще темно. Лето, июнь. Воскресенье. Мы с дядей Мишей идем по двору (улица лейтенанта Шмидта, 11, Одесса). Нас сопровождает ворчание разбуженной тети Марии, жены дяди Миши. Ворчание не отпускает нас до самых ворот.

– Она не понимает, – бормочет про себя, а может, и чуточку для меня дядя Миша, – бог создал человека для рыбалки; для рыбалки, а не для того, чтобы он развешивал белье.

Белье висит на веревках на уровне второго этажа, добавляя утреннему двору свежести, через два часа его, высохшее за ночь, снимут.

На платанах на Пушкинской (угол Малой Арнаутской, которую одесситы зовут Милой) так же спросонья и ворчливо, как тетя Мария, отзываются на наши шаги галки. Галок на деревьях – сотни.

– Не смотрите вверх, – предупреждает дядя Миша, – они как раз могут попасть в глаз.

На перекрестке, по-совиному светя желтым глазом, щелкают светофоры.

На спинах у нас объемистые рюкзаки с резиновыми шлюпками, туда же воткнуты легонькие весельца. В руках – проволочные корзины, на дне которых по бутерброду и бутылке воды. Мы направляемся к Привозу, куда должен подойти наш автобус.

Кое-где на улицы уже вышли дворники. Они метут тротуары – и широкие движения их метел напоминают маятники. Это ритм предрассветного утра, утра, не потревоженного ни одним будильником. Дворники поглядывают на нас сердито и завистливо.

Ворота Привоза еще заперты, на рынке идут последние приготовления – шкрябается метлами залитый соками овощей и ягод асфальт, остатки мусора увозятся в тачках. Но уже подъезжают

тяжело груженные машины, а на стоящих с вечера начинают шевелиться люди. Они встают с мешков лука, картошки, редиски, ранних яблок, на которых спали, накрывшись домашними кожурами или старыми пальто, зевают, потягиваются, негромко густыми со сна голосами переговариваются, растирают онемевшие бока, начинают стаскивать наземь поклажу. По Привозу освобожденно разносятся яблочный аромат и луковый дух.

На подходе к рынку сидят у магазинной стены продавцы «рачков» – полупрозрачных прибрежных креветок, самой лучшей наживки. Рачки выловлены вчера, они еще живы, еще шевелятся... Продаются они пол-литровыми стеклянными банками, которыми их нагребают из сырых до половины наполненных мешков.

На остановке нашего автобуса стоит молчаливая очередь рыбаков. У всех за спиной рюкзаки с резиновыми шляпками, у всех в руках плетеные металлические корзины. Очередь по-утреннему неразговорчива, переступает ногами, курит, ждет...

А в темный настой ночи уже начала поступать ключевая вода рассвета, настой прозрачнеет, рассеивается...

Автобус маленький, тесный, внутри не освещенный, рыбаки помогают друг другу пролезть в узкую дверь, подталкивая в тяжелый рюкзак, мирно рассаживаются и все еще молчат, только покрхтывают, приглушенно кашляют...

Дверь наконец-то со скрипом съезжается, автобус трогается. На неровном асфальте его качает, как шляпку на волне. Наш путь – через всю еще не проснувшуюся Одессу, на Хаджибейский лиман.

Дядя Миша сидит у окна, сидит, привычно нахохлившись, он, как все, помалкивает, похоже, досыпает.

Дядя Миша – сухонький небольшого роста жилистый старик с торчащими скулами, впалыми щеками и маленькими хитрыми глазками. Весь дом (жена, дочь, сын) держится на нем. В свои 70 «з гаком» он работает – как ни странно, грузчиком в большом продуктовом магазине. Грузчиков в магазине целая бригада, и все старики. Меня всегда интересовало, что они там делают, числясь грузчиками, и я спрашивал у дяди Миши, у которого я гостил ради рыбалки уже неделю, спрашивал, когда он приходил с работы:

– Ну, как дела? – вопрос задавался как бы между прочим. – Что было?

Грузчик отшучивался:

– Что было? Переносили втроем один соленый огурец.

Или:

– Что могло быть! Кряхтели и кашляли.

Тетя Мария слышала мой вопрос и отвечала – но не мне, а, как говорится, городу и миру:

– Только и делают эти несчастные грузчики, что пьют водку, а после чешут весь день языки. Что они еще могут, эти пьяницы?!

Однако деньги домой или какие-то продукты дядя Миша приносил – и каждый божий день.

Постепенно выяснилось – из переговоров супругов (куда деть уши?), что старики, конечно, что-то там вдвоем-втроем-вчетвером передвигали, переставляли, перекладывали и пересчитывали, они еще давали ценные советы (этого добра у них было вдосталь), говорили продавщицам смачные комплименты, выслушивали их жалобы на мужей и детей... Но главной их работой был вынос через черный ход каких-то дефицитных продуктов к машинам, подъезжающим к задней двери магазина. За это они «имели» и зарплату, и еще «зверху», и тем кормились, и содержали свои семьи. И непременно было распитие одной-двух четвертинок водки, после которых развязывались языки старых одесских хохмачей и яростных спорщиков.

На голове дяди Миши выцветшая жокейка, которая спасет его лысую голову от июньского солнца, автобус время от времени ныряет в очередную выбоину на дороге, дядя Миша кивает каждой, как бы говоря: «Конечно... Конечно... И вот еще одна... Но разве в жизни бывает иначе?..». Козырек съезжает на лицо уснувшего рыбака... и я неожиданно вспоминаю зимний, тоже воскресный день, когда...

Почти в каждое позднесеннее или зимнее воскресенье дядя Миша одевается, как наследный принц: он идет (отправляется) на птичий рынок. Посещение птичьего рынка для каждого одесского рыбака – все равно что посещение клуба respectableм английским джентльменом.

Мистер Топоровский надевает: светлый макинтош пошива, может быть, года 1948-го, но заботами его жены выглядящий как новый, на шею набрасывается белое шелковое кашне, голова

накрывается зеленого велюра шляпой размера, кажется, на два больше нужного: знай наших!

Сопровождаемый ворчанием тети Марии – «Вырядился... а куда идет? Ему лишь бы праздник, а то, что я с утра до ночи...» – дядя Миша проходил под развешанным на уровне второго этажа бельем и оказывался на улице.

Птичий рынок в Одессе – это: собаки, собранные благодаря морякам со всего мира, и их щенки, что либо копошатся в усталой чем-то мягкой корзине, либо выглядывают из-за пазух. В сумрачных глазах продаваемых собак – покорность судьбе. Они уже поняли что-то и не противятся предстоящему. На подошедшего взгляды с крохотной теплинкой надежды, тревожно обнюхивают протянутую руку... Надежда тут же гаснет, как только начинается торговый разговор, как гаснут редкие снежинки, падающие в этот день на мокрый асфальт.

Кошки – живые цветы дома – рассержены. Клетки – не для них. Они еле сдерживают ярость. Людские взгляды их раздражают, а палец, просунутый в щель клетки, они немедленно цапают острейшим когтем.

Птицы – попугаи (боже, какое разноцветье!), голуби, канарейки, чижи, еще какие-то...

Здесь же продаются кролики, хомячки, морские свинки, белые крысы и белые мышки...

Аквариумные рыбки – тоже мировая коллекция, корм для них: кучки шевелящихся комариных личинок и пустые спичечные коробки рядом, все виды сухого, дафнии и циклопы...

Рыбацкий ряд! Здесь для рыбака есть все: резиновые шлюпки, насосы к ним, весла, пробки, клейкая резина; спиннинги, мессины (лески) всех толщин и всех цветов радуги, крючки любых размеров и покрытий, кончая позолоченными, грузила, свинец, проволочные корзины, пружинные весы («что если вы захотите свешать?»), ножи, какие-то для чего-то колечки, какие-то для чего-то резинки. Самодельные ладные четырехлапые кадолы (якорьки) из толстой проволоки. Ветровки, шляпы от солнца, панамы, резиновые тапочки. Может быть, ради чьей-то улыбки выставлена на продажу старая соломенная шляпа-канотье. Книжки по рыболовству, о рыбах Черноморья, о речной и озерной, книжка

«Острова Черного моря», рядом с ней лежит «Белеет парус одинокий» Катаева («Парус – это почти та же рыбалка!»).

Дядя Миша начинает обход выставленных на продажу богатств. Он полон достоинства, он невозмутим, его не проведешь. Он осматривает крючки, пробует остроту жала, приценивается... Продавец расхваливает товар – «Вы таких еще не видали! Они сами ловят!» – дядя Миша соглашается, кивает... но идет дальше: обход только начался, впереди еще столько всего!

У мотка зелено-синей переливающейся месины останавливается. Хозяин ее утверждает, что месина – японская, что она – последнее изобретение, что бычок, «даже надень он очки», лески в воде не заметит. Дядя Миша, тоже покивав, все же отходит. И объясняет мне:

– Он меня имеет за младенца! Я что, не вижу, что он ее дома красил! Жулик! Таких нельзя пускать на птичий рынок!

Мистер Топоровский еще долго после этого качает головой, переживая бессовестную попытку обмануть такого рыбака, как он. Рыбаков, кстати, он делит на «завзятых», ну, скажем, одержимых, и «з выдержкой», к каким, естественно, относит и себя.

Без покупки уйти с птичьего рынка нельзя, и наш рыбак докупает к своей богатейшей коллекции десяток-два крючков в целлофановом пакетике: во-первых, говорит он, крючки часто теряются во время рыбалки – то бычок их откусывает, а то заводит за камень, а во-вторых, «лучше, чтобы они были, чем если их вдруг не будет».

Пакетик с крючками займет место на стене «каюты» дяди Миши. Старик – по множеству причин и в том числе по долгому размышлению о смысле жизни – давно уже переселился в бывшую когда-то то ли ванной, то ли кладовкой каморку, в которой поместился лежак, а на нем матрац. Вместе с дядей Мишей в этот закуток, на его пол и стены – он стал называться каютой – перешло все рыбацкое снаряжение – ВСЁ, вместе с запахом рыбалки и поблескивающей даже на стенах рыбьей чешуей. Тут же были прикручены к полке у изголовья тисочки, а рядом с ними разложены все инструменты, к коим у любого мужчины то же отношение, что у молодой женщины к предметам призеркального хозяйства. Когда я приехал в Одессу, дядя Миша уступил мне каюту, а сам приютился на время рядом со своей женой...

Автобус останавливается в поселке Хаджибей, неподалеку от лимана, рыбаки, подхватив тяжелые мешки, топают, выстроившись в согбенную цепочку, к тускло блестящей воде. Рассвет теперь сер, по поверхности лимана скользят еще ватные клочья тумана. Цепочка какое-то время идет по берегу целиком, но вот сбрасывает с плеч поклажу один... через сотню метров другой... У каждого рыбака здесь свое заветное место.

Мы с дядей Мишей, пожелав последнему нашему попутчику «ни хвоста, ни чешуи», идем дальше всех. Ответ попутчика: «Того же самого», – долго звучит в ушах.

Справа от нас – большая вода с тонюсенькой, звонкой, как колокольчик, волной прибой, слева – холмы с бобриком желтеющей уже травы и лысинками на макушках.

Уже рассвело, но свет еще такой ранний, утро такое свежее, запашистое, так бьет по ноздрям, что ненароком приходит сравнение его с... молоденьким огурцом, только что сорванным с утренней же грядки, – влажным, в капельках росы, с накопленным за ночь запахом, который улавливается, лишь наклонившись к грядке, к шершавой огурцовой листве, чтобы разглядеть в ней бугорчатую спину закусочного этого овоща. (Черт его знает, а может, рассол лимана вызывает в моем русском сознании образ огурца? Того, малосольного, сохранившего запахи грядки?)

Дядя Миша идет впереди. Из-за огромного рюкзака и тоненьких кривоватых от старости ножек он напоминает черепаху. В такт тяжелым шагам кивает жокейка, выцветшая, как... Ну, скажем для дела, как солдатская пилотка времени 1945 года.

М. Топоровский воевал (не знаю, как записано его имя в паспорте). Участвовал в войне – служил механиком в авиационном полку. Даже не механиком, а его помощником, потому что этим ремеслом по-настоящему не владел, но «шурупил» и был «на подхвате».

Случился в той его жизни боевой эпизод. Это было уже в Германии. Личный состав полка, исключая летчиков, был выстроен в две шеренги, и командир, похаживая вдоль строя, сообщил, что:

Получен приказ разбомбить немецкий завод по производству фаустпатронов. Сложность его выполнения в том, что завод окружен зенитками и что рядом с ним, впритык, находится лагерь военнопленных-рабочих. Как бы в них не попасть. Летчикам

необходимо просигналить с земли ракетами, кои покажут точное расположение завода. Сигнальщики как можно ближе к объекту подкинет ТУ-2, остаток пути они проберутся по лесу, который заканчивается метров за сто от завода. Там, конечно, стоят сторожевые вышки... Задание опасное, поэтому требуются добровольцы. Добровольцы, три шага вперед.

Топоровский стоял во второй шеренге рядом со своим механиком, сержантом Завирюхой, который вечно над ним подтрунивал. Завирюха, рослый парнюга, сидя во время перекура на невысокой траве аэродрома, затрагивал щупленького помощника так:

– Ну, а если бы «месс» на тебя пошел сверху, – показывал ладонью атаку «мессершмита», – что бы ты делал? – ответа не дожидаясь и произносил всегда одно и то же: – Я-то знаю, что с тобой было бы, да ведь ты-то про себя иначе думаешь!

И в таком же духе далее.

Топоровский, стоя в замершей шеренге, знал, что Завирюха уже сегодня его спросит: «Ну, а если в другой раз вызовут добровольцев, ты опять ни шагу? Ваш брат – он такой...».

Вот и случилось – Завирюха, понятно, был не главной причиной, но одной из них, случилось: поммеханика хлопнул по левому плечу впередистоящего, тот сделал шаг вперед и вправо, и М. Топоровский первым протопал к выжидающему смельчаков командиру полка.

Тот, увидав невзрачного добровольца, слегка опешил. Человека с ракетницей вблизи немецких сторожевых вышек он представлял себе иначе.

– Так, – сказал он после долгой минуты разглядывания добровольца, – так...

А еще у меня в полку храбрые есть?

Вышли еще трое, командир выбрал – из четырех – самых, с его точки зрения, надежных, а Топоровского, поблагодарив «за службу», отправил во вторую шеренгу, куда тот и протопал с сознанием не до конца выполненного долга. Он бы пустил ракеты у немецкого завода не хуже других. Не хуже... а возможно, и лучше. Разве он знает себя до доньшка? До доньшка, где запрятано такое болючее самолюбие – если тронуть, оно так может выиграть!

– Ну, – спросил помощник у своего механика при первом же перекуре, – что ж ты не вышел, когда позвали?

– Я хотел, – ответил виновато Завируха, – да ты меня опередил. Ты ведь у нас, гляди, какой шустрый!

И тогда М. Топоровский с полным правом спросил у собрата по оружию:

– Тогда скажи: если бы «месс» на тебя пошел вот так, – показал ладонью, – что бы ты делал? А? Я-то уже знаю...

Ракеты в назначенный час показали ночным бомбардировщикам завод, бомбежка прошла успешно, из двоих добровольцев вернулся в часть один, раненный автоматной пулей. Второй, как было сказано в похоронке, «пропал без вести».

Мы продолжаем идти, вдыхая огуречный запах утра, поглядывая то на лиман, то на холмы.

В дяде Мише, насколько я его знаю, идет безостановочный процесс думания. Если понаблюдать за ним в то время, когда он не участвует в разговоре, можно заметить: то шевелятся брови, то вдруг морщится от какой-то думки лоб, то он качнет, а то и потрясет головой, но чаще – пожимает плечом: дядя Миша чему-то только что кем-то сказанному удивляется, с чем-то не согласен, от чего-то недоумеает. Но «озвучивает» он только результаты мышления, которые требуют уже аудитории. Вот мы шагаем и шагаем, тяжело нагруженные, по каменисто-песчаному берегу лимана, он впереди, я вижу только его старенькие кеды и вдруг я слышу:

– Всякий человек прав!

– Что, дядя Миша? – догоняю я старика.

– Всякий человек прав, – повторяет он, не оборачиваясь, – кто спорит?! Но что тут важно – насколько?

Я еще ничего не понял и на всякий случай спрашиваю:

– И насколько же?

– Ну... – дядя Миша проделывает энное количество шагов и уверенно объявляет: – Самое большее – на 25 процентов!

– Так-так... – озадачиваюсь я. – И что из этого следует?

– Если все будут знать про 25 процентов, тогда с человеком еще можно о чем-то разговаривать. А если кто-то думает, что он прав хотя бы на 75 – я не говорю про все 100, – скажите ему до свидания!

Я тоже делаю энное количество шагов, прежде чем рождается мой вопрос:

– А на сколько процентов вы сейчас правы, дядя Миша?

Но моего одессита просто так не поймаете. Ответ следует незамедлительно:

– Ну... процентов на 30! Но можно и договориться.

Этот неожиданный словесный всплеск, эта вселенская формула правоты – отзвук какого-то позавчерашнего, яростного на-верняка спора стариков-грузчиков в подвале продуктового магазина. Споры там возникают по самому невинному поводу. Стоит, к примеру, кому-то между делом бросить, что «сегодня хорошая погода», как в ответ прозвучит не менее трех воинственных возражений.

– Что вы считаете да-хорошей погодой? – это первое.

– Бывает и получше, – это второе.

– Хорошая погода, я считаю, – звучит третье, окончательное, от самого авторитетного старика, – это когда ничего не болит. А если что-то болит (я не говорю – всё), так это то же самое, что уже неделю идет дождь и кругом слякоть по самые уши!

И не приведи Господь произнести здесь какое-то политическое утверждение!

Дядя Миша, конечно, в спорах участвовал, горячо, взалхлеб, но... после. Через день. Когда в одиночестве сидел перед телевизором или долго шел, нагруженный тяжелым рюкзаком, по берегу лимана. Мысли у него возникают по самым неожиданным (для меня) поводам.

Вдруг он снова, не оборачиваясь ко мне, бросает:

– Страшная тайна!

– Что, дядя Миша?

– А вы никому не расскажете?

– Ну что вы, дядя Миша!

– Тогда я вам скажу... Видите, что это такое? – он вынимает из кармана рубашки что-то, похожее не то на замазку, не то на зеленый пластилин. – Знаете, что это?

– Нет...

– Заглушки! – дядя Миша торжествует. – Это заглушки! Видите? Я ими затыкаюсь, как в дупле. Дупле, вы поняли? Чтобы

не слышать всего, что говорит женщина! Ваша жена еще не говорит столько? Нет? А моя уже. Ей это надо. Ей это надо – пусть пилит на здоровье. А мне это не надо. Я ей не дрова. Так я затыкаюсь с самого утра и слушаю только шум в ушах. Это, говорят, склероз, но это мой склероз. Ей надо – чтоб она была здорова, – пусть пилит. А мне это не надо – чтоб я тоже был здоров, – так я завел заглушки. Я вышел на улицу – я их снял, и слышу человеческие голоса...

С остальным миром дядя Миша давно уже наладил отношения, гарантирующие ему относительный покой, – он выработал несколько философских формул и примиряющую обе стороны интонацию (жаль, я не могу передать ее на бумаге):

- Почему «нет», если «да»?
- Кто вам против?
- Кто спорит?!
- Хотите «да»? Пусть будет! От «да» еще никто не умирал.
- Я знаю?!
- Что говорить, когда и так все ясно!

Я каждый раз удивлялся дядимишиной выносливости. Какая сила влекла этого старика по берегу лимана дальше всех? Даже я, недавно еще спортсмен, еле вытягивал ноги из песка...

Он шел, поглядывая вперед, шел, как солдат, как дервиш по пустыне, как некогда покорно и упрямо шли по многу верст за день богомольцы.

Он шагал, слыша, наверно, голос рыбацкого бога, того, кого он помянул с утра пораньше, и кивал его словам (я видел, что он то кивал чему-то время от времени, то пожимал плечом):

– Иди, Миша, иди, – говорил ему, должно быть, его бог, – иди на встречу со мной – я добавлю тебе сил... Ибо круги на воде от поплавок и есть молитва ко мне, и я внемлю ей, бессловесной, исходящей из самого сердца, как никакой другой.

– Ибо я, – продолжал, верно, этот бог, – я есть круг, который возникает, ширится и исчезает без следа, и снова возникает на поверхности воды, будя воображение, надежду и веру, чтобы, как они, истаять и снова появиться, чтобы пропасть и опять возникнуть...

– А теперь, – так заканчивал предположительно этот удивительный бог, – насади креветку на крючок, забрось удочку и отгони всякие побочные мысли, дабы не мешали они твоему

возвышенному смотрению на круги, что расходятся от японской месины...

Вот наконец некая излучина, отороченная глиняным обрывчиком, песок вперемешку с мелкими ребристыми камнями, та же тонюсенькая волна прибоя. Мы сбрасываем с плеч рюкзаки, вытаскиваем резиновые шлюпки. Раскладываем их на берегу, крепим шланг насоса, поочередно накачиваем...

Первым отправляется в плавание дядя Миша – он знает места клева. Шлюпка – этакий расстегай с начинкой из еле видного в нем человека – вертится на воде, весельца с трудом придают ей направление, к тому же дядя Миша спешит, ему не терпится начать рыбалку. Я следую за ним еще неувереннее, моя шлюпка рыскает, как слепая, а то даже пускается вальсировать.

Флагман, покрутившись, останавливается; забрасывается кадола. Дядя Миша разматывает удочку, вижу, насаживает на крючок первого рачка, оторвав предварительно длинноусую жесткую голову и оставив мягкое тельце креветки. И – донка уходит вниз!

Я повторяю все его движения; моя удочка скользит с указательного пальца в воду до тех пор, пока я не чувствую удара грузила о дно. Я обматываю месину вокруг пальца и чуть натягиваю ее. Теперь месина – струна, она передаст мне любое к ней прикосновение. Да вот же оно! Первый дёрг – и я ответно дергаю удочку вверх. И чую – бычок на крючке. Я начинаю вытаскивать донку, ощущая дополнительную – живую – тяжесть рыбы, рвущейся с крючка; капли воды стекают по месине вниз...

– Привет, красавчик! – говорю я верткому темному бычку, показавшемуся из воды, и хватаю его левой рукой. – Сколько там, внизу, ваших собралось?

И бросаю взгляд в сторону дяди Миши. Он ловит двумя донками и еле успевает вытаскивать рыбу; бычки ранним утром голодны, креветочье мясо для них лакомство, и вот они, как на конвейере, следуют к поверхности воды.

Тяжелое тусклое зеркало Хаджибейского лимана чуть покачивается, колыша шлюпку, днище ее даже приплескивает время от времени.

Солнце уже поднялось, утро стало обыкновенным – таким, каким знают его все, выходящие на работу в девятом часу,

а то терпкое утро, что увидели и ощутили мы (а я еще и унюхал), – оно только для рыбаков...

Дёрг – снизу, дерг – наверх! И...

...Двор на улице лейтенанта Шмидта мы пересекаем перегретые солнцем, нагруженные: дядя Миша наловил две корзины бычков (обе несет сам), я – одну, но тоже полную. Плюс резиновые шлюпки и прочее. Нас встречает ворчание тети Марии. Оно бесконечно и сводится к тому, что муж «целый день прохлаждался на своей рыбалке, а теперь вот ей после целого дня работы предстоит еще и чистить рыбу, которой этот жадный старик наловил так много, что невозможно поднять, а у нее болят и спина, и ноги, и руки, что у всех мужья как мужья, а у нее...» и так далее.

Мы разгружаемся, снова надуваем и ставим для просушки у стены две резиновые шлюпки, вытаскиваем из кухни табуретки и садимся под окном. Из окна льется на наши головы ворчание тети Марии, которая уже чистит рыбу, чтобы подать нам ее, золотистую от муки и постного масла, на большой сковородке.

– Она не понимает, – бормочет про себя, а может, и чуточку для меня дядя Миша, – бог создал человека для рыбалки; для рыбалки – а не для того, чтобы он развешивал белье...

Белье на уровне второго этажа давно сняли; из кухонного окна Топоровских истекает дух жареных бычков и свеженарезанного салата из огурцов и помидоров. Сейчас нас позовут к столу, мы сядем за него втроем, дядя Миша разольет холодную водку, и я знаю, за что мы с ним выпьем, не говоря об этом вслух.

Воскресный улов дяди Миши обеспечит недельное пропитание семьи: икра, заливное, уха, жареные бычки – самое «прикольное» одесское блюдо, рыбные котлеты; крупных же бычков («локоть», «кнут») тетя Мария продаст соседям или вынесет на Привоз...

Нью-Йорк

